

Владимир Тайх

Проклятие

Я ненавижу дирижеров.

Я завидую им черной завистью.

Я сам дирижер.

Я завидую им потому, что я не дирижер. Хотя я дирижер!

Моя зависть более похожа на белую. Она легка, как белое облачко. Это даже не зависть, а недоумение. Быть может, ревность. Скорее досада. В такие минуты я изображаю «недоумение»: я поджимаю губы, поднимаю плечи, развожу руки. «Почему? Why? Warum?» Думаю, думаю... Хорошо, что никто не видит сейчас моего лица. Думаю еще и прихожу в состояние покоя и удовлетворения, затем какого-то облегчения, даже радости. «Хорошо, как хорошо! – говорю я себе с закрытыми глазами. – Sehr gut» (мне зэр гут, дорогие господа!).

А им? Перед лицом полсотни суетящихся – скрипки, флейты, валторны, тромбоны, гобои, эти дикие литавры и челеста. Ударные, духовые, медные, деревянные. А чего стоят струнные?! А контрабасы, виолончели, альты, арфы! И надо знать, где каждый, помнить, как настроен каждый, когда вступает и чем вступает. Старт хоть одного инструмента полсекундой раньше или полсекундой позже – катастрофа. Не концерта, всей жизни.

А за спиной? Тысяча замерших в ожидании наслаждения. Они не простят ни триумфа, ни поражения. Их две тысячи глаз заранее горят восторгом. Сегодня они, каждый из них, главный герой, главный судья, господь бог! Оркестр пусть играет, им заплачено, но только нам дано право выставить большой палец ногтем вверх или вниз. Мы должны получить дивиденды на свои рублики, доллары, шекели хотя бы один к пяти. Мы покупаем лучших музы-

кантов мира, чтобы поднять свой внутренний эгоцентрофактор, по горло, по макушку наполниться сознанием высшей полноценности, укрепляющей право на вежливое презрение.

Это было вчера, позавчера... Сегодня другой концерт и другая тысяча в зале, тысяча доброжелателей, тысяча врагов. Стоит только повернуться к ним спиной, и чувствуешь, как они сереют, темнеют и сливаются в одну большую вязкую массу. Она холодит мне спину, она дырявит взглядами мой затылок, плечи, фрак. Она неподвижна, бездыханна, безмолвна. Она дышит, шепчет, кашляет, прочищает горло. Ее запах может лишить меня чувств. Я хочу оглянуться. *Я хочу оглянуться.* Но нельзя.

И это все мне тому.

Хорошо, что не мне.

С молодых лет и до седин (а я разменял уже восьмой десяток) я болен, я ранен, я постоянно терзаем музыкой. Сколько раз бывало – вдруг – на улице, в сквере неожиданно цепенею от холода, возникшего меж лопаток, или от чего-то невообразимого в солнечном сплетении, а еще хуже – от тягучей, почти ревматической нудной боли в паху или ощущения, что попал в воздушную яму в самолете тех лет. Но я уже знаю, что это! Застываю, кручу головой, как локатором. Вот он. Сквозь уличные шумы, вскрики клаксонов, лязг тормозов из висящего на столбе репродуктора (когда-то были такие) 3-й концерт Рахманинова, или из чьего-то окна 40-я симфония Моцарта, рапсодия на тему Паганини! Я научился глушить в себе все постороннее и в полустолбняке наслаждаться, получая отчасти мазохистское удовольствие истязанием.

Родители не учили меня музыке, хотя я каждый день канючил, говорили, что спрашивали и в районных школах, и у Столярского, – «поздно!». «Война закончилась, когда тебе пошел десятый, потом, дай бог, какую-нибудь еду зацепить, Какая музыка?! Пианино? На какие шиши, и где его ставить? Ты бы лучше уроки готовил и меньше шлялся с дружками по Привозу. Надоело махорку вытряхивать из твоих карманов».

Мы жили тогда на Пролетарском бульваре, против стены военного госпиталя. Дом наш № 11-а, четырехэтажный, был несколько отдален от улицы квадратным двориком и пристроен к торцу почерневшего, какого-то странно неопрятного длинного дома № 11.

В нем было 4 или 5 парадных, во втором вход в женскую школу. Девочек, выходящих после уроков, по доброй традиции полагалось «врезать» снежком (зимой) или облить из раздутой водой соски. Это был наш двор, и это было наше право, незыблемое, как право суверена. Вдоль всего дома от улицы, по которой гремел, скрежетал, цокал pedalным звонком один раз в час трамвай № 17 (Аркадия – Куликово поле), шла довольно широкая асфальтовая дорога, упирающаяся в глухую стену трехметрового забора войсковой части. Эта дорога и была нашим Двором. На ней мы играли в футбол, «штендер», салки, поздним вечером в казаки-разбойники, прятки. Здесь же запускали «катуши», жгли фигуры, сложенные из крупного пороха, а горящие пороховые трубочки, летящие, как ракеты, наши умельцы запускали в открытые форточки девичьих классов.

Против входа в школу располагалась наша гордость – полукруглая колоннада, в торцах которой на двух каменных постаментах лежали два роскошных льва. Под ними сидели, стояли, топтались торговки (школьный буфет) с фанерными лотками, висящими на шее с помощью веревочек. Торговали самодельными ирисками (главный товар), плоскими кусочками халвы и белой липкой косхалвы. Мороженое доставали длинными ложками из цилиндрических баков, погруженных в корзины со льдом, в жестяную изложницу, на дно которой укладывалась вафельная пластинка. Поверх мороженого клалась вторая вафля, и брикет выталкивался поршнем в руки вождедеющему покупателю. Особо ценный товар – петушки на палочках – они держали в широких нагрудных карманах. И были правы.

С торговками у нас были особые отношения. Мы их презирали, третировали и обирали. И не из корысти, а из врожденного чисто классового неприятия. Геройством (по современному пошлому выражению, «высшим пилотажем») считалось, стоя за спинами тесно обступивших в два, а то и в три ряда торговку девочек, мгновенно «усечь» возникший узкий промежуток между их бедрами и молниеносным выбросом ноги, не задев (не дай бог) ни одной покупательницы, подбить высоко в воздух фанерку с ирисками. Рев, крики. Ириски ловили, поднимали, сдували пыль. Сам же герой должен был скромно отступить на шаг и индифферентно, даже грустно наблюдать за происходящим.

Зимой (легкий поклон автора идеи читателю) за колоннадой скатывали снежный шар, как для снежной бабы, подавали на колоннаду, передавали метателю, оседлавшему льва, – тот прицельно сверху бросал его на лоток. Снежный шар катился по площадке весь в ирисках. Кто бросил? Ни на льве, ни на колоннаде ни души. Это (последнее) было моим далеко не последним изобретением. Я опускаю описание визга, криков и проклятий торговки, украшенных отдельными словами нормативной лексики, пробивавшимися сквозь непроходимые джунгли мата. Она бросалась на снег, собирая ириски и отталкивая руки и ноги ребят, которым доставалась добрая половина ее добра. Я был ловким и шустрым мальчишкой и дважды успешно выступил с этим удивительным номером.

Но случилось и третье мое выступление. Первый акт я провел безукоризненно, и снежный ком катился, облепленный ирисками, а ребятки с визгом и дикими криками бросились собирать добычу. Через полмгновения я уже не на льве и даже не сзади, а перед лицом торговки, притом позади ребят, ползающих по снегу. И тут я получил сполна и за все! Торговка не бросилась спасать свое добро, она стояла и смотрела на диких, жадных, толкающих друг друга, жрущих. Что было в глазах усталой женщины? Смертная тоска, мысли о своих голодных детях, горечь и обида? И я не поверил глазам и ушам своим. Ее взгляд остановился на мне. И я на всю жизнь запомнил ее голос, упавший уже будто из другого мира:

– Хорошо, хоть один человек есть среди нелюдей. Эти сейчас сжирают свою совесть.

Я долго совершенно испуганно смотрел на нее, так долго, что у меня свело скулы. «Не горюй, парень», – взгляд ее потеплел, и она ушла. Я пошел к морю и клялся себе «больше никогда, никогда, никогда», на этом моя способность формулировать истощалась, да этого и не надо было.

После этого я, постоянно мечтающий поесть, дома без ужина забился в свою лежанку в узкой прихожей под вешалкой, и тут меня прорвало – я рыдал, кусал губы, руки, говорил «идиот, сволочь, скотина», подвывал, скулил, боялся и хотел, чтобы услышала мамочка и пришла, и я бы ей покаялся, уткнувшись в коленки. Но она не услышала и не пришла. И слава богу.

С тех пор я честно покупал ириски – по 3 рубля маленькие, по 5 большие (да, да – так они стоили – не раки!), и помнил о той женщине. Ее звали Вера, Вера с Пироговской. Спасибо ей. Я зарекся обижать торговков, а главное – изобретать методы артистичного грабежа. Я дал себе слово. И слово это нарушил! А возможно, и нет. Будьте судьей, читатель.

Брат мой, учащийся ремесленного училища, принес мне два подшипника для самоката. Я зашел к дружку Юрику Напреенко похвастать, и зря! У него загорелись глаза, и он ни за что не хотел расставаться с ними, предлагал поменять на кучу всяких других железок. Однако неписанный кодекс Двора не допускал между нами ни купли-продажи, ни мены, и я, пожалев о своей глупости, подарил ему колеса, он, провожая, сунул мне маникюрные кусачки, их привез с войны его отец. Иду через двор, разглядываю – кусачки хромированные, блестят на солнце. Клянусь, я ничего не задумывал. Проходя сквозь толпу торговков и школьниц, увидел широкую спину самой голосистой и наглой огромной Риммы, предводительницы этой мафии. И как-то само собой я легким движением перекусил веревочку ее лотка и резко присел. Ребята ничего не знали, но были начеку. Гигантская Римма лишилась дара речи. Она оглянулась – никого. Мыча, взвизгивая, в какой-то неестественной заторможенной позе с руками в стороны она рухнула на колени, чтобы собрать то, что еще было возможно.

Мы пошли в малый двор, там ребята мне «выдали», то есть дали мою долю ирисок, восторгов, смеха. Я купался в волнах славы среди этих оболтусов, чудных друзей детства. Где они сейчас? Живы ли?

Я шел домой и думал. Зачем я это сделал? Что толкает взрослого десятилетнего человека на подобные выходки? Наверное, есть что-то сильнее меня. Да и нельзя артиста долго держать в узде, ему нужен воздух сцены, глаза зрителей и хоть неслышные, но аплодисменты.

На следующее утро слышу тяжелые шлепающие шаги на лестнице – и на наш четвертый этаж вползла Римма, пыхтя, хрипя и булькая. Остановилась перед дверью, из которой торчала моя невинная мордочка, и «О-оо-ооо-я-оо-зна-ю-это-ооо-ты. Счас... Счас...». Она отдышалась и неожиданно резко за шиворот выкинула меня на лестницу. Зашла в квартиру.

Родители на работе, дома дед с бабушкой и дядя, брат мамы, недавно демобилизованный, после госпиталя, красавец капитан-лейтенант в белом морском кителе при всех орденах, колодок он не носил. Думаю: «Ну все, теперь держись, получишь сполна от всех и по очереди».

Буквально через минуту дверь распахнулась, тучная Римма ловко выскочила и через две ступеньки помчалась вниз. Вдогонку мой дорогой дядя кричал, заикался, мычал. Общий смысл его речи: «Пошла ты, сволочь, спекулянтка, подлая сука и...» – ни одного слова непечатной лексики.

В тот день Римма собрала совет.

И с этого дня всем появившимся в прямой видимости от колоннады выдавали по ириске, отсутствующим передавали. Они нас знали всех в лицо и по имени.

Такой порядок просуществовал долго.

Итак, наша героическая идейная борьба за правое дело против мира чистогана, обмана и спекуляции превратилась в элементарный рэкет.

Но! Мы пионеры, дети рабочих!

И! Клич пионеров: «Всегда будь готов!».

* * *

В какой-то из благословенных дней отец пришел с работы с ящиком. Я подбежал во дворе: «Что это?» – «Музыка, ты же хотел».

«Музыка» оказалась радиоприемником «Рекорд», первым послевоенным с диапазоном коротких волн, таким сжатым, что на миллиметре шкалы было по пять-шесть станций. Станции эти говорили по-иностранному, мелодии дворовые спецы определили как турецкие. Сосед Юры самолетный радист Сергей Сергеевич приемник не одобрил, спросил: «Голос Америки хотите?». Я на всякий случай кивнул. По его рекомендации мы изготовили три антенны из провода, который смотали с огромной бесхозной катушки, прислоненной к забору киностудии. Накрутили две рамки на гвозди, вбитые в углы рам двух окон на смежных стенах, и одну – провод с чердака на балкон. Отводы с трех антенн сходились у тумбочки, где стоял «Рекорд». Приемник ожил, появился внятный уверенный прием на длинных

и средних волнах, короткие я слушал редко. Иногда, пробегая, видел отца с его другом Леонидом или Яшей, склонивших головы к бубнящему радио, слышал «как у вас хорошо ловит». Яша не раз расспрашивал о рамочных антеннах.

Мне нравился джаз поздними вечерами, но только как отдых после музыки. Совсем не признавались популярные «хороши весной в саду цветочки» и всякие «креолки» от Шульженко, и «если можешь, прости» Изабеллы Юрьевой. Не знаю, почему, но в двенадцатилетнем нежном возрасте я слушал часами, открыв рот, то, что впоследствии оказалось Бетховеном, Моцартом, Глинкой, Рахманиновым. То, что я называл *музыка*.

Через год я узнавал десятка два из шедевров мировой классики, больше, думаю, из так называемой популярной. А еще через два я уже многое помнил наизусть и мурлыкал себе под нос фрагменты из великих концертов, сонат, симфоний и опер. Попробуйте, дорогой читатель, мысленно пропеть 1-й клавирный концерт Чайковского. Чувствуете? Ваши руки, пальцы начинают бить, как по клавишам рояля. А если пятую симфонию Бетховена? Вы непроизвольно начинаете дирижировать. Все это при условии, что музыка захватила вас. А когда вы дирижуете, слушая радиоприемник или пластинку, музыка все больше и больше захватывает вас, и вы все больше и больше энергии и чувств вкладываете в движение рук и души. Вы движетесь навстречу, раскрываетесь музыке, а она все глубже, интенсивнее входит в вас, заполняя всего – сначала душу, затем голову, грудь. Эту музыку рождает не Голованов, не Файер, не Гаук, даже не Бетховен! Вы! Только вы источник, автор, создатель этого чуда, настоящей страсти, рождающей наивысшее наслаждение, катарсис.

Детский анекдот тех дней. Притча. Детки играют в школу, распределяют роли. Оля хорошо считает, решили – будет учительницей арифметики, Катя поет – будет учительницей пения, Женя только приехала из Крыма, отдыхала в Артеке, готовая географичка. А маленький Боря глупый, да и ничего, совсем ничего не умеет. Подумали. Будет директором. И становились неудавшиеся литераторы литературными критиками, плохие актеры – импресарио, бездарные журналисты, инженеры – большими начальниками, определявшими стратегию инженерной мысли.

Не знаю, были ли случаи, когда музыканты-неудачники становились дирижерами, но есть феноменальный пример, когда за дирижерский пульт встал человек, не только не играющий ни на одном инструменте, но и не знающий нот. Нет, это не Костя из «Веселых ребят», тот играл на рожке или свирели. Это я.

К двадцати годам я значительно расширил круг любимых произведений, многие помнил наизусть или почти наизусть, то есть мог дирижировать, вспоминая упущенные детали, когда звучала музыка. К этому времени я был обладателем неплохого проигрывателя и не менее двух сотен долгоиграющих пластиногигантов. Начинал чувствовать особенности исполнительской манеры, узнавал игру великих исполнителей, конечно же, и дирижеров. Я не пропускал интересных вечеров в филармонии, особенно концертов великих гастролеров. И все чаще и чаще, придя домой после концерта, ставил на проигрыватель ту же сонату Франка или третий концерт Рахманинова, бывало, даже в том же исполнении, и играл себе сам. Боже, совсем другая музыка, настоящее наслаждение, не прерываемое кашлем, локтями соседей, ужимками спины дирижера, бешеным паркинсоном смычков, цирковой эквилибристикой ударника, томными пассажами арфистки. Я творю для себя, я щупаю каждый звук чувствительными подушечками пальцев, как щупают тончайший шелк, как слепые, а глаза мои часто прикрыты, ощупывают мраморные античные изваяния. Эта картина поразила меня в нью-йоркском Метрополитен-музее. Слепые стояли в очереди, работники музея подводили их по одному и клали их руки на амфоры, расписные древние вазы, небольшие скульптуры, барельефы. По совершенно непонятной причине многие, подходя к антикам, снимали темные очки, пугая зрячих посетителей пустыми глазницами или выразительными белыми бельмами, страшными, как в голливудских фильмах-ужасах. В глазах с интересом наблюдавших эту сцену посетителей стояли слезы. Они резко вздрагивали, когда резко, как от ожога, слепые отдергивали руки, натыкавшиеся на трещины, клейки и выбоины.

Шли годы, рос и мой репертуар. Процесс этот нескорый и нелегкий. Приобретя новую запись, слушаю многократно, иногда принуждая себя, пока не пойму, полюблю, как-то запомню, сделаю частью себя (эта последняя фаза внутренней работы

проявляется в произвольном звучании мелодии где-то в лобной части, прямо над глазами, причем начало и конец звучания не требуют моего участия).

Как вы успели понять, я наслаждался своей музыкой, однако временами стал чувствовать некий душевный дискомфорт, что-то смущало меня, какая-то легкая тучка заслоняла яркий свет, горящий в моем темени, иногда даже нарушая возжеланный музыкальный оргазм финала. Аутопсихоанализ с раскладыванием на чистом столе (мысленно, конечно) всех свитков на грани сознательного и бессознательного дал простейший и точный результат – меня смущает некий «нетрудовой доход», плагиат, что ли, а проще – хищение «интеллектуальной собственности».

Из своих неvirtуальных коллег я знаю только великих. Только им доверяют оркестры, они гастролируют по миру, послушать их набиваются залы и стадионы, именно их приглашают на запись пластинок и компакт-дисков. Им не позавидуешь, живут в поездах и самолетах. Прибыв, бросают вещи в отель – и на репетиции, на бой со своими любимцами оркестрантами. Через несколько дней концерт, и опять самолет. А ведь когда-то нужно накапливать профессиональные интеллектуальные ценности, расти, так сказать, нужно обновлять репертуар, обновляться самому. Нужно быть на уровне конкурентоспособности.

И вот, потратив месяцы, а то и годы на создание своих программ, они демонстрируют гениальную музыку. Но! Великий Рахлин играет только как Натан Рахлин, Хайкин – только как Борис Хайкин, то же и у Орлова, Пазовского, Файера. Я же играю ту же гениальную музыку сегодня как Рахлин, завтра как Кондрашин или Светланов. Даже прощенный ныне бывший наци мне по плечу, стали появляться его записи. У меня не мокнет рубаха под фракком, не сбивается набок бабочка, я дирижирую в трусах летом или в спортивном костюме зимой. Если проголодаюсь, иду на кухню и обедаю или ужинаю, оркестр продолжает играть, я лишь легкими движениями левой руки поддерживаю его ритмы, одновременно и ритм своего жевания.

В конце восьмидесятых я познакомился с девушкой вдвое моложе меня, очень близкой мне по духу. Она привлекала беззаветной любовью к музыке и прекрасными формами. Поставив

ей на первом классе сбалансированном проигрывателе любимую пятую симфонию Бетховена, я ждал, когда она вся растворится в божественных громах и молниях. После чего она не понимала, что с нее снимают одежду, ласкают... вообще ничего не чувствовала, кроме великой музыки. Изучив ее телодвижения, я отчетливо понял, дирижирует она телом! Мы с ней одной крови! Я открылся ей, единственной. Она была способной ученицей, и вскоре мы вдвоем дирижировали вторым концертом Паганини. Дорогой читатель, вы, конечно, видели дуэт и трио, даже квартет скрипок, фортепианный дуэт, да что перечислять зря! А это был первый и единственный пока в истории мирового искусства дуэт дирижеров. И какой дуэт! Попробовали бы фон Караян с Мелик-Пашаевым вместе поднять дирижерские палочки и помахать ими вдвоем перед оркестром. Вот была бы потеха! Мы же с блеском довели концерт до финала. И как Ева с Адамом, отведавшие от древа познания, вдруг увидели, что мы наги. Мы не бросились к своим одежкам, было бы это не оригинально, повторением общеизвестного. Проснулись блаженным утром. «Ну, как, Маргарита? Поверила, что я дирижер?» – «Поверила, милый. Только дирижер ты вторичный». Это мне что-то напомнило из недавно прочитанного. Нахмурил брови: «Это, как у Войновича, вторичный продукт?!». Но ведь это обидно и оскорбительно. Оторвав от сердца ее роскошные формы, я изгнал ее, и тем, сожалею, сломал ее судьбу. Она вышла замуж за молодого электромонтажника, в тот момент торговавшего привозными сигаретами и владевшего четырьмя киосками. Собрав значительный капитал, они купили усадьбу на Кипре, переехали туда, и там коллективно тоскуют по родине, купаясь в теплом море и колеся по острову на своем джипе в поисках развлечений.

Люди! Молодые, средних лет и более чем средних! Любящие музыку и жаждущие наслаждаться ею! Не слушайте снобов, занимающих первые ряды в большом зале консерватории. «Мы слушаем только «живую». Нет в родном языке такого слова, это от безграмотности. А попробуйте по-моему, интерактивно! Закройте плотно двери комнаты, поставьте диск. Слушайте, двигайтесь, впускайте звуки в себя. Будьте сами этими звуками!

Пришло время, когда мне захотелось чего-то большего. Я дирижер! Мне нужен праздник!

Вот уже почти двадцать лет в моем шкафу висят всегда тщательно почищенные и отглаженные два черных фрака и две накрахмаленные белоснежные сорочки со стоячими воротниками и отогнутыми углами, к ним два галстука-бабочки. В нижнем отделении остроносые черные лаковые туфли, белые носки к ним. В правильности последнего я не уверен, но уже много лет все проходит на самом высоком уровне, без единого замечания о нарушении этикета.

За час до концерта горячий душ, пятнадцать минут отдыха. Никогда никакой еды, никакого кофе. Я медленно и тщательно одеваюсь перед большим трюмо, отключаю телефон и дверной звонок. Я знаю, что я буду играть в этот день, и приступаю к соответствующей рассадке оркестра. Конечно, я придерживаюсь принятых канонов, но иногда их приходится корректировать. Дирижерский пульт в центре на авансцене. Слева, ближе к рампе, первые скрипки, их восемь-десять, максимально я рассаживал одиннадцать, за ними вторые скрипки, их у меня пять-семь. За ними и левее неповоротливая челеста, если она нужна, а уж за нею ударные. Подбор ударных – это особая работа. Ударных несчетное количество. Не верите? Перечислить? Объем рассказа удвоится. Считайте: треугольник, бубен, тарелки, малый барабан, кастаньеты, бубенчики, трещотка, ветряная машина, хлопушки, бруски, наковальня, цепи, сирены, клаксоны... Вам мало? Пожалуйста: свистки, флексатон, ластра, маракасы, клавес, гуиро, бонги, гонги, тимбалес, том-томы. Вижу, хотите еще – большой барабан, тамтам, темпл-блоки, костур, ксилофон, вибрафон, антильские тарелочки, тубафон, колокольчики, колокола, маримбафон. Продолжить? Достаточно? Слава богу! Из этого огромного списка надо выбрать три-шесть, редко семь-восемь. Подбор ударных – это как соль и специи в роскошных яствах, это подбор аромата, некоего оберколорита, придающего основным звукам особый оттенок.

По мою правую руку располагаю виолончели, до пяти инструментов, за ними такое же количество альтов, правее только два-три контрабаса. Теперь самое время заняться духовыми. Три флейты в центре оркестра прижаты к ареалу вторых скрипок, из них одна флейта-пикколо, правее, между флейтами и альтами, –

гобои, их тоже три, хотя один может быть заменен на английский рожок. Некая киприотка поставила на мне клеймо «вторичный»! Да, я не смотрю в партитуру, не читаю ремарок композиторов, где авторы указывают, для каких инструментов написан тот или иной фрагмент. До всего дохожу сам, а это тройная трудность.

За флейтами – кларнеты, обычно три. И кто подскажет, ставить кларнет-пикколо второй или бас-кларнет? Ставить ли контрафагот к фаготам, правее кларнетов? А сколько раз нужно прослушать запись, чтобы понять, участвует ли туба, та, что правее фаготов?

Мы завершаем рассадку оркестра, любимый мною творческий акт. Я вижу лица всех оркестрантов, они расслаиваются, поправляют пюпитры, выкладывают из хозяйственных сумок потрепанные ноты, перешептываются. Осталось рассадить медь. Это просто. За кларнетами и фаготами – валторны, за ними слева трубы, справа тромбоны. На сегодня все. Ни арфы, ни рояля! Мои оркестранты инструменты не настраивают.

Я поднимаю обе руки, полсотни глаз смотрят в мои глаза, наступает тишина... я подвожу адаптер к началу записи, нажимаю микролифт и скидываю символ моей власти – сандаловую дирижерскую палочку!

* * *

Упругие волны подхватывают меня, раскачивают, как раскачивают шаланду те, морские, я плыву, проваливаюсь в пропасть, взмываю в небо.

Я обожаю дирижеров!

Я им не завидую!

Я сам дирижер!

Германия

